Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2024. № 1 (25).
Dostoevsky and World Culture. Philological journal, no. 1 (25), 2024.
Научная статья / Research Article
УДК 821.161.1.0
ББК 83.3(2=411.2)
https://doi.org/10.22455/2619-0311-2024-1-45-61
https://elibrary.ru/TVLYZK



© 2024. Татьяна Магарил-Ильяева
Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, Москва, Россия

Путь героя в ранних текстах Ф.М. Достоевского и «Преступлении и наказании»

© 2024. Tatiana G. Magaril-Il'iaeva
A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The Hero's Journey in Dostoevsky's Early Works and *Crime and Punishment*

Информация об авторе: Татьяна Георгиевна Магарил-Ильяева, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Ф.М. Достоевский и мировая культура», Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия.
https://orcid.org/0000-0001-7521-1898
E-mail: vutka@yandex.ru

Аннотация: В статье предлагается рассмотреть то, каким образом соотносится раннее творчество Ф.М. Достоевского и роман «Преступление и наказание» на уровне их внутренних символических историй, создаваемых автором за внешними сюжетами произведений. В настоящей работе выдвигается гипотеза о том, что Раскольникову удается пройти путь духовного преображения, который писатель стремился отыскать и для своих героев 1840-х годов, однако тогда ему это не удалось осуществить в полной мере. Несмотря на продолжающиеся в научной среде споры о роли эпилога в «Преступлении и наказании», все же можно говорить о том, что в этом романе, единственном из «Великого пятикнижия», показан путь героя от полного падения до прямо прописанного духовного воскресения. В статье предпринимается попытка показать, что Раскольников проходит путь по «траектории», описанной в ранних текстах, но очевидно с некоторыми коренными изменениями, позволившими этот путь осуществить. Статья представляет собой описание первых шагов в разработке данной темы.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание», ранние произведения Достоевского, мотив солнца, уединение, каторга.

Для цитирования: *Магарил-Ильяева Т.Г.* Путь героя в ранних текстах Ф.М. Достоевского и «Преступлении и наказании» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2024. № 1 (25). С. 45–61. https://doi.org/10.22455/2619-0311-2024-1-45-61

Information about the author: Tatiana G. Magaril-Il'iaeva, PhD in Philology, Senior Researcher, Research Centre "Dostoevsky and World Culture," A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia.

https://orcid.org/0000-0001-7521-1898

E-mail: vutka@yandex.ru

Abstract: The article proposes to consider how the early work of Fyodor Dostoevsky and the novel *Crime and Punishment* correlate at the level of their internal symbolic stories created by the author behind the external plots of the works. In this work, the hypothesis is put forward that Raskolnikov manages to follow the path of spiritual transformation, which the writer sought to find for his heroes of the 1840s, but then he failed to fully realize it. Despite the ongoing debate in the academic community about the role of the epilogue in *Crime and Punishment*, it can still be said that this novel, the only one from the Five Great Novels, shows the hero's path from a complete fall to a directly prescribed spiritual resurrection. The article attempts to show that Raskolnikov follows the path along the "trajectory" described in the early texts, but obviously with some fundamental changes that allowed this path to be realized. The article is a description of the first steps in the development of this topic.

Keywords: Fyodor Dostoevsky, *Crime and Punishment*, Dostoevsky's early work, the motif of the sun, solitude, hard labor.

For citation: Magaril-Il'iaeva, T.G. "The Hero's Journey in Dostoevsky's Early Works and *Crime and Punishment*." *Dostoevsky and World Culture. Philological journal*, no. 1 (25), 2024, pp. 45–61. (In Russ.) https://doi.org/10.22455/2619-0311-2024-1-45-61

Исследователи нередко стремятся протянуть нити от ранних текстов Ф.М. Достоевского к большим романам, ищут в творчестве 1840-х годов ростки его будущих идей, прообразы героев «Великого пятикнижия». Если обратиться к теме соотношения ранних произведений и «Преступления и наказания», то одним из первых, кто указал на наличие прямой связи образа Раскольникова с литературными впечатлениями докаторжного периода жизни и творчества писателя, был Л.П. Гроссман, кратко упомянувший об этом в статье 1918 года «Путь Достоевского» [Гроссман, 1921, с. 92]. Позже в кни-

ге из серии ЖЗЛ в связи с размышлениями о повести «Хозяйка» исследователь отметил: «Эта повесть <...> являет в раннем творчестве Достоевского одно из предвестий его созданий зрелой поры»; «По своей типической сущности Ордынов — предвестник Раскольникова. Перед нами одинокий, одичавший в своем уединении молодой мыслитель» [Гроссман, 1965, с. 98]. Предвестников Раскольникова находили и в других героях, например, В.С. Нечаева была возмущена предположением Б.И. Бурсова о том, что «в ничтожном чиновнике Прохарчине отчетливо прорезывается образ Раскольникова» (цит. по: [Нечаева, 1979, с. 282]). Однако чаще всего этого героя рассматривают как более зрелый этап развития образа мечтателя, а точнее мечтателей раннего творчества Достоевского. Собственно, Гроссман, отметивший общую «типическую сущность» Раскольникова и Ордынова, также называл героя «Хозяйки» мечтателем.

Однако путь рассмотрения связи текстов через обнаружение типических черт героев видится не всегда оптимальным. В достоеведении можно встретить немало работ, в рамках которых ученые обращаются к теме мечтательства, прослеживают ее развитие в разных текстах, стремятся создать типологию мечтателей, см. например: [Гроссман, 1965], [Жилякова, 1989], [Мелетинский, 1964], [Косяков, 2009], [Федорова, Любарец, 2023] и др. По воле исследователей мечтателями оказываются очень многие герои Достоевского и даже персонажи тех произведений, в которых слово «мечта» практически не употребляется, как, например, в повести «Хозяйка»[1]. Здесь правомерен теоретический вопрос: на что мы опираемся в процессе выявления некого типа героев — важно ли авторское обозначение персонажа, или достаточно исследовательских предположений о характерных чертах, свойственных тому или иному типу[2]? Однако

[1] Слово «мечта» в этом произведении упоминается один раз наравне с перечисляемыми внутренними процессами Ордынова (мыслями, жизненным опытом, детскими грезами, впечатлениями от чтения книг), которые начали воплощаться в его сне [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 279]. То есть вовсе не как описание сущности героя или его основной деятельности.

[2] Примечательно, что в связи с образом мечтателя у нас как раз есть описание определяющих его черт. В работе Д.А. Медведевой и А.А. Казакова «Мечтатели и идеологи в мире Ф.М. Достоевского в свете феноменологии безумия» [Медведева, Казаков, 2015] справедливо отмечается, со ссылкой на предложенное Ф.М. Достоевским в «Петербургских летописях» размышление, что мечтатель — это тот, кто по внутренней слабости оказался не способен к делу. В связи с этим становится более понятно, почему план Раскольникова до окончательно принято им решения о его воплощении в жизнь называется «безобразной мечтой», а после чтения письма матери предстает в новом

стоит отметить, что, если работа по сопоставлению персонажей ведется только на самом поверхностном уровне без выяснения того, признаками чего являются обнаруженные внешние схождения, исследователям нередко приходится отходить от авторского текста[3].

Тем не менее, несмотря на теоретические вопросы, возникающие в связи с настойчивым стремлением исследователей увязать различных героев в некие категории, распространенность данного подхода все же свидетельствует о присутствующем у ученых интуи-

грозном виде («<…> разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это...» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 39]). Авторы статьи полагают, что начавший действовать мечтатель становится идеологом, однако эта гипотеза не учитывает, что понятие *дела,* на которое оказался не способен мечтатель, также не сводится Достоевским к его поверхностному пониманию.

[3] Приведу один пример, связанный с Ордыновым, которого наиболее часто стремятся «записать» в мечтатели. О.А. Богданова и Г.А. Водопьянова в статье «Эволюция образа мечтателя в раннем творчестве Ф.М. Достоевского» пишут: «Тема мечтательства приводит Достоевского к повести “Хозяйка” (1847). Ее герой <…> петербургский мечтатель Ордынов как и “фланер” из “Петербургской летописи” любит бродить по улицам Петербурга. Но бесплодное фантазерство “фланера” сурово осуждалось в “Летописи”. (Такая жизнь, — “трагедия и карикатура”)» [Богданова, Водопьянова, 1999, с. 91]. Исследовательницы переворачивают описание блуждающего по городу Ордынова таким образом, что оно действительно начинает напоминать путь мечтателя из «Белых ночей», которого, однако, автор ни разу не называет фланером (соотношение фланера и мечтателя в «Петербургской летописи» также далеко не линейно), но мечтатель хотя бы любит бродить по городу, недаром ему «знаком весь Петербург» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 102]. В «Хозяйке» же приведенная выше фраза выглядит следующим образом: «Всё более и более ему нравилось бродить по улицам. Он глазел на всё как *фланер*» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 266]. Ордынов впервые за долгое время выходит из своего добровольного заточения и оказывается вовлечен в вихрь жизни, который начинает увлекать его. Однако автор тут же уточняет, что даже если со стороны могло показаться, что он смотрит на все как фланер, то есть как внешний наблюдатель, не имеющий цели и не вовлекающийся в происходящее, на самом деле Ордынов «и теперь, верный своей всегдашней настроенности, <…> читал в ярко раскрывавшейся перед ним картине, как в книге между строк», то есть как раз вовлекался гораздо глубже, чем обычный наблюдатель. Далее писатель еще более прямо пишет, что герой только попытался примерить на себя жизнь, которой всегда бежал и которая ему была как бы «не по размеру»: «<…> ему как-то бессознательно хотелось втеснить как-нибудь и себя в эту для него чуждую жизнь, которую он доселе знал или, лучше сказать, только верно предчувствовал инстинктом художника» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 266]. Вскоре открывшаяся действительность и вовсе начала его подавлять. Ордынов в тексте повести описан как тот, кто всем своим существом, своей природой противоположен как фланеру, так и мечтателю, если учитывать хотя бы тот факт, что в своем уединении он придается вовсе не мечтам, а науке. Относя Ордынова к мечтателям, исследователи были вынуждены проигнорировать крайне важные для понимания образа героя характеристики.

тивном ощущении наличия некой связи персонажей ранних текстов как между собой, так и с героями больших романов, в частности «Преступлением и наказанием». Однако до сих пор остается не очень понятно, как говорить об этой связи, на каком уровне ее выявлять и какими средствами.

Помимо сопоставления образов героев одним из путей исследования очевидно присутствующего схождения ранних текстов и «Преступления и наказания» может служить и обращение к мотивам, проходящим через рассматриваемые произведения. Здесь возникает интересный нюанс. Из-за малого объема произведений 1840-х годов у нас не всегда есть возможность в рамках одного текста удостовериться, что тот или иной образ, или слово, или сюжетный ход являются частью мотива/концепта, то есть крайне значимым элементом, дающим возможность выйти на символический уровень текста. Одним из средств работы с мотивами этого периода может как раз служить прослеживание пути их дальнейшего развития в зрелом творчестве писателя. Это позволяет и подтвердить, что некие повторяющиеся элементы составляют авторский мотив, и углубить его понимание или подтвердить ту глубину, которая лишь угадывается на каком-то этапе исследования ранних текстов, и в то же время проследить, каким образом развивалась мысль писателя.

На II Международной научной онлайн-конференции «“Преступление и наказание”: современное состояние изучения» я выступала с докладом, в рамках которого постаралась проследить трансформации мотива солнца от ранних текстов к «Преступлению и наказанию». Значимость этого мотива в зрелом творчестве не вызывает сомнений, он подробно изучен и описан[4]. В связи с ранним творчеством образ солнца периодически упоминается исследователями как значимая деталь повествования, но никогда не становился предметом специального изучения, хотя и героям раннего творчества солнце является как знак потенциальной возможности полного преображения их личности для *обновленной* жизни, которая началась у Раскольникова, для чего ему, однако, пришлось дать просиять солнцу в себе (стать самому солнцем). Трансформация мотива связана не с принципиальным изменением его смысловой наполненности, но она отражает результаты глубочайшего переосмысления Достоевским пути духовного преображения человека, явления его высшей

[4] См., например: [Дурылин, 1928], [Медведев, 2009], [Касаткина, 2015] и др.

природы. Солнце-Христос из внешнего маяка, сигнализирующего о потенциальной возможности явления *новой* жизни, становится для Достоевского самой глубокой сутью человека, которой нужно дать проявиться. Одним из свидетельств возникновения отчетливого понимания необходимости найти Христа в себе может служить письмо Достоевского к брату, написанное после несостоявшейся казни: «Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. <...> On voit le soleil!» [Достоевский, 1972–1990, т. 28_1, с. 162]. Таким образом, рассмотрение мотива в разные творческие периоды позволило гораздо лучше понять проблематику раннего творчества, увидеть, что *вопрос* о том, каковы духовные пути преображения человека в мире, не возникает только после пережитой Достоевским каторги, но и лежит в основе произведений 1840-х годов; отличие заключается в предполагаемом писателем *ответе* на этот вопрос в разные периоды его жизни.

Собственно, в этой статье будет осуществлена попытка обратиться к той символической истории о духовном пути человека в ранних текстах и «Преступлении и наказании», которую авторские мотивы, образы героев и призваны описывать, к которой должны вести внимательного читателя. Выдвигаемая в работе гипотеза состоит в том, что Раскольникову удалось пройти путь духовного преображения[5], который стремился отыскать Достоевский для своих героев в ранних текстах и по какой-то причине не смог найти. Причем проходит он этот путь внешне по «траектории», описанной в произведениях 1840-х годов, но очевидно с некоторыми коренными изменениями, подобно «перемещению» солнца «из вне во внутрь», позволившими этот путь осуществить.

Мне не раз приходилось говорить и писать о том, что почти все истории из раннего творчества писателя включают в себя в качестве предыстории или начинаются с описания того, что герой находится в состоянии крайней уединенности и максимальной отгороженности от мира. Основные же события сюжета разворачиваются, когда изолированность героя (внешняя — физическая или внутренняя — ментальная/душевная) оказывается нарушенной и продолжаться больше не может (с его согласия или нет). Можно сказать, что все ранее творчество писателя было посвящено трагедии замкнутого, уединенного существования людей и попыткам его преодоления, увы,

[5] Важно отметить, что в этом романе, единственном из «Великого пятикнижия», показан путь героя от полного падения до прямо прописанного духовного воскресения.

почти безуспешным. Достоевский в текстах 1840-х годов показывал, как такое существование вошло в сознание его современников так глубоко, что стало восприниматься как естественное, единственно нормальное, а насильственное выведение из него могло оказаться даже смертельным, как в случае с господином Прохарчиным.

Приведу примеры из различных текстов докаторжного периода, в которых жизнь людей в состоянии замкнутости описывается Достоевским посредством удивительно схожих образов. Так, Прохарчин был «человек несветский, совсем смирный и жил до того самого времени, как попал в компанию, в глухом, непроницаемом уединении, отличался тихостию и даже как будто таинственностью; ибо всё время последнего житья своего на Песках лежал на кровати за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. Оба старые его сожителя жили совершенно так же, как он: оба были тоже как будто таинственны и тоже пятнадцать лет пролежали за ширмами. В патриархальном затишье тянулись один за другим счастливые, дремотные дни и часы <...>» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 246]. Это фантастическое описание в фельетоне «Петербургская летопись» стало характеристикой горожан, которые ужасно боятся общественный жизни и оттого разошлись по кружкам: «В кружке можно самым безмятежным и сладостным образом дотянуть свою полезную жизнь, между зевком и сплетнею, до той самой эпохи, когда грипп или гнилая горячка посетит ваш домашний очаг и вы проститесь с ним стоически, равнодушно и в счастливом неведении того, как это всё было с вами доселе и для чего так всё было?» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 12]. Герой повести «Хозяйка», вынужденно выйдя из своего угла, оказывается захвачен толпой, буйной жизнью, которую обычные люди всячески избегают, так как, напротив, «хлопотливо <...> отыскивают средств умириться, стихнуть и **успокоиться** где-нибудь в теплом гнезде» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 264]. В объяснительной при аресте, размышляя о причинах, приведших к задержанию, одной из которых оказывается утраченная возможность или способность людей говорить друг с другом, Достоевский писал: «Сознания не высидишь и не выживешь молча. Сами мы бежим обобщения, дробимся на кружки или черствеем в уединении. А кто виноват в этом положении? Мы, мы сами и более никто, — я так всегда думал» [Достоевский, 1972–1990, т. 18, с. 121]. В «Петербургской летописи» это уединенное состояние людей прямо называется болезнью, возможность излечения кото-

рой появляется в момент явления весеннего солнца, о котором уже немного было сказано выше[6]. Соответственно, состояние уединения маркируется Достоевским отсутствием солнца: так, например, Ордынов «отрешился от света» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 265], а к мечтателям в их уголки «как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 112].

Если не воспринимать приведенные описания исключительно как метафоры, то они поистине ужасают. Достоевский осмысляет ситуацию, сложившуюся в обществе, не как социальный или политический вопрос, а рассматривает ее как проблему онтологического уровня, он предъявляет читателю состояние духовной природы человека одурманенной, забывшей о своих истинных задачах. Люди, разучившиеся чувствовать нужды своей другой природы, превращаются в живых ***покойников***, окруженных такими же покойниками, к чему они сами, однако, настойчиво стремятся. Сообщение с внешним миром начинает ощущаться как что-то неясное и крайне болезненное, и оттого нежелательное, в уединении искажается сознание, извращаются мысли и идеи. И только солнце как явление внеположное здешней реальности указывает на болезненность, неестественность наличествующего положения человека.

Наиболее отчетливо как проблема онтологического уровня эта тема раскрывается в «Хозяйке», где прямо описывается процесс порабощения духовной природы. В сне Ордынова, в котором, если рассмотреть его не как галлюцинацию или бред, а как откровение об истинном положении вещей и самого героя, описывается, как дух, пребывающий в райском саду, постепенно одурманивался нашептываниями злого старика, «впадал в оцепенение, в беспамятство. Потом <...> просыпался вдруг человеком» [Достоевский, 1972–1990, т.1, с. 279], который ничего не помнил о своей другой жизни. Воспоминания, как и возможность что-то изменить, появляются у героя благодаря тому, что он, будучи *вынужденным выйти из уединения*, поддается внутреннему порыву (или некой силе, которой он сдался)[7]

[6] Подробнее о теме явления солнца в «Петербургской летописи», см.: [Магарил-Ильяева, 2021].

[7] «Уж третий день, как Ордынов жил в каком-то вихре в сравнении с прежним затишьем его жизни; но рассуждать он не мог и даже боялся. Всё сбилось и перемешалось в его существовании; он глухо чувствовал, что вся его жизнь как будто переломлена пополам; одно стремление, одно ожидание овладело им, и другая мысль его не смущала» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 273].

и становится жильцом Катерины. Все время его пребывания у нее будет ознаменовано реальной болезнью Ордынова, сама же героиня, ухаживающая за жильцом, многократно называется солнцем. Так, например, в момент пробуждения герой чувствует, что какое-то существо стоит рядом, и тут же к нему обращается Катерина «с приветливою и светлою, как солнце, улыбкою». Автор пишет, что лучи солнца (то ли действительного, то ли от образа Катерины) «казалось, согревали его [Ордынова] какою-то торжественною, светлою радостью», и «он чувствовал, что новая, сильная, невидимая жизнь началась для него»[8] [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 275]. В первом же разговоре Катерина-солнце предлагает Ордынову свою *сестринскую любовь в качестве цели его выздоровления* и ждет в ответ любовь братскую (которую в итоге герой дать не сумел): «Встанешь, будем жить, как брат и сестра. Хочешь? Ведь сестру трудно нажить, как Бог родив не дал» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 276]. Достоевский, буквально воплотив солнце в этом произведении, то есть представив его в образе героини, показал, что именно может излечить поврежденную духовную природу, какого уровня связь должна быть между людьми — не посягающая страсть, стремящаяся завладеть любимым, но братская любовь, жаждущая исцеления любимого. Явление такой любови, хоть и на краткий миг, становится источником новой, настоящей жизни. Чтобы быть с Варенькой, Макар Девушкин прерывает двадцатилетние уютное уединение со своей прошлой хозяйкой, так как оказывается, что ничего нет важнее этой новой связи, если этой связи не будет, то остается только броситься в Неву [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 58]. Как о единственном моменте жизни говорит мечтатель о встрече с Настенькой: «О, будьте благословенны, вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни!» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 118]. Такая любовь позволяет по-настоящему познать другого. Это прямо проговорено в «Слабом сердце» между героями мужчинами, что еще раз подчеркивает, что Достоевский пишет о связи между всеми людьми. Так, Вася спрашивает Аркадия: «<…> я давно хотел спросить тебя: как это ты так хорошо меня знаешь?», на что друг отвечает: «Если

[8] Солнцем Катерину называл и Мурин: «Урони ж хоть словечко, красная девица, просияй в бурю солнцем, разгони светом темную ночь!» [Достоевский, 1972–1990, т. 1, с. 298]. Собственно, абсолютное большинство случаев упоминания слова солнце в повести связано именно с описанием образа главной героини.

бы ты знал, Вася, до какой степени я люблю тебя, так ты бы не спросил этого, — да!» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 39]. Еще одним из способов описания такого глубинного познания становится мотив узнавания впервые встретившимися героями друг друга как давно знакомых («Я вас так знаю, как будто уже мы двадцать лет были друзьями...» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 109] — говорит Настенька мечтателю).

Несмотря на то что Достоевский строит свои ранние произведения таким образом, чтобы герой в начале повествования оказался выведенным из уединения, так как писателю было понятно, что в этом мертвом пространстве невозможно никакое радикальное изменение (например, встреча с другим как с солнцем), этого выхода, тем более обеспеченного внешними обстоятельствами, оказывается недостаточно для излечения героя. И даже соприкосновение с обновленной жизнью, с целительным действием солнца, с не требующей ничего взамен любовью, оказывается недостаточно для полного перерождения человека, для его духовного воскресения. Болезнь въелась в существо человека слишком глубоко, раскрыться навстречу другому, а не попытаться захватить, присвоить его как объект[9], оказывается невозможно.

В «Преступлении и наказании» герой проходит путь вместе с той, кто стала для других источником жизни, буквально колодцем[10], кто была готова всегда идти рядом, любить и ждать. Это путь от полного уединения до того, что: «<...> в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 421].

Тема длительной уединенной жизни героя очень важна в романе. Первое, что мы о нем узнаем: он «до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только

---

[9] О двух возможных путях взаимодействия людей между собой писала Т.А. Касаткина: «Самораскрытие личностей в их красоте в ответ на явление красоты — это путь изобилия, путь превращения человека в источник благодати миру; стремление присвоить явленную другим красоту — это путь нищеты, недостатка, путь превращения человека в черную дыру, высасывающую благодать из мироздания» [Касаткина, 2015, с. 473].

[10] «Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 25]

встречи с хозяйкой» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 5][11]. Именно уединение стало *почвой* для его «безобразной мечты»: «там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало всё это вот уже более месяца» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 45]; «Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб, — сказала вдруг Пульхерия Александровна, прерывая тягостное молчание, — я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик. — Квартира — отвечал он рассеянно. — Да, квартира много способствовала... я об этом тоже думал...» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 421][12].

В отличие от описанных в раннем творчестве обстоятельств и последствий замкнутой жизни героев, в «Преступлении и наказании» Достоевский показывает самую дальнюю перспективу того, к чему может привести крайнее уединение — окружающие люди становятся не просто докучливыми объектами, но материалом, которым можно распоряжаться по собственному усмотрению, в том числе и утилизировать.

В крайней точке, достигнутой Раскольниковым, человек уже не избегает общественный жизни, как герои раннего творчества, а *отрубает* себя от нее. В конторе, куда Раскольников пришел по вопросу о неуплате за квартиру, попытавшись вступить в разговор со служащими, он вдруг ощущает «всею силою ощущения, что не только с чувствительными экспансивностями, как давеча, но даже **с чем бы то ни было ему уже нельзя более обращаться к этим людям**, в квартальной конторе, и будь это всё его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему **совершенно незачем было бы обращаться к ним** и даже ни в каком случае жизни; он никогда еще до сей минуты не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее — это было более ощущение, чем сознание, чем понятие; непосредственное

[11] Отмечу, что, образ хозяйки, упомянутой на первой же странице романа, не может не вызывать ассоциаций с ранним творчеством писателя. Т.А. Касаткина неоднократно отмечала, что хозяйка квартиры в ранних текстах — это символ души, живущей в теле. Об этом же значении образа хозяйки в «Преступлении и наказании», которой кругом задолжал герой и которую бьет за его преступление Илья Петрович, также не раз говорила исследовательница, см.: [Касаткина, 2015, с. 197].

[12] Опять же замечу, что квартира как то, что определяет судьбу героя, очень важный мотив раннего творчества, однако, я не раз слышала мнение, что квартиры «похуже» и «почерней» — всего лишь реалии жизни самого молодого Достоевского. При этом в «Преступлении и наказании» символическая роль данного мотива не вызывает сомнений. Напомню, что в «Униженных и оскорбленных» Ихменев прямо сказал: «Перемена места — значит перемена *всего*!» [Достоевский, 1972–1990, т. 3, с. 430].

ощущение, **мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнию пережитых им ощущений**» [Достоевский, 1972–1990, т. 6, с. 82]. На протяжении романа Раскольникова не раз будет бросать от одних чувств к другим, от желания сознаться, до уверенности в своих силах скрыть преступление, но это уловленное ощущение, которое, как подчеркивает автор, было не сознанием или понятием, а именно ощущением, очень важно. Раскольников на собственный шкуре ощутил, что, то состояние, в котором он оказался, невыносимо. К уединенному закукливанию герои ранних текстов стремятся, оно ощущается как норма, Раскольников же достигает наконец той точки, в которой это состояние нельзя принять за норму. Кроме того, оказывается, что в этом пределе невозможно ни на что посягнуть: ни на награбленное, ни на личность, которой хотел стать.

Однако в раннем творчестве писателя есть два текста, в которых главным героям все же удается что-то радикально изменить в самих себе и своей жизни — это «Неточка Незванова», которую Достоевский не успел дописать из-за ареста, и «Маленький герой», написанный им во время заключения в Петропавловской крепости. Примечательно, что на символическом уровне описываемые автором пути обоих героев имеют немало схождений, как кажется, неслучайных. Так, истории обоих персонажей с очевидностью разделяются на два этапа: у Неточки — жизнь с матерью и отчимом и жизнь в доме князя, у маленького героя — период претерпевания гонений от тиранки блондинки и период, в который он спасает m-me M. Первый из периодов обоими героями ощущался как то, что необходимо преодолеть, как нечто неестественное и гнетущее («Я поняла, и уж не помню как, что в нашем углу — какое-то вечное, нестерпимое горе <...> я обвинила матушку <...>» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 161], маленькому герою в начале повествования нигде не находилось места, он везде оказывался лишним, а насмешки блондинки «язвили до крови» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 273]). Оба героя ощущают потребность в другом бытии, оба интуитивно ведомы тайной этого иного бытия[13], завешанной, что интересно, красным покрывалом

[13] Именно как о стремлении постичь тайну говорит маленький герой о своем внимании к m-me M: «Часто по целым часам я как будто уж и не мог от нее оторваться; я заучил каждый жест, каждое движение ее, вслушался в каждую вибрацию густого, серебристого, но несколько заглушённого голоса и — странное дело! — из всех наблюдений своих вынес, вместе с робким и сладким впечатлением, какое-то непостижимое любопытство. Похоже было на то, как будто я допытывался какой-нибудь тайны...» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 274]. Как о рае мечтает Неточка о доме напротив: «И тотчас же сложилось в моих

(дом с красными занавесями, о котором мечтает Неточка, и m-me M с красной косынкой, которую хотел себе оставить маленький герой). Обоим героям удается прикоснуться к влекущей их тайне, что коренным образом изменяет их самих. Маленький герой принимает брошенный тиранкой вызов и благодаря «воскресшему духу» оседлывает дикого коня Танкреда — блондинка, как и все присутствующие, признает в нем рыцаря, насмешки прекращаются: «<...> серьезным, важным голоском, какого от нее никогда не слыхали, сказала, указав на меня: “Mais c'est très sérieux, messieurs, ne riez pas!”» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 287]. После этого герой получает возможность послужить той, к которой стремилась его душа, в результате чего m-me M снимает свой красный покров, и герой впервые прозревает свою истинную природу: «Я слабо вскрикнул, открыл глаза, но тотчас же на них упал вчерашний газовый платочек ее <...> весь трепеща, как былинка, невозбранно отдался первому сознанию и откровению сердца, первому, еще неясному прозрению природы моей...» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 295]. Неточка же теряет мать и отчима, все, что связывало ее с прошлой жизнью, умерло, и она сама как будто умирает для старой жизни, возрождаясь для новой: «Я почувствовала, как всё лицо мое облилось кровью. Мгновение спустя я лишилась чувств... <...> Я пробудилась для новой жизни» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 187], в которой она обретает свой голос («Аннета! да у тебя чудный голос, <...> Да благословит же тебя Бог, мое милое, бесценное дитя! Благодари Его за этот дар» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 237]). Герои этих двух произведений проходят путь от ощущения неправильности их наличествующего состояния к соприкосновению с зовущей их тайной, которое позволило им прозреть их истинную природу. Кажется немаловажным, что оба героя, которым удалось перероditься для новой жизни, были дети. Взрослому даже очень умному человеку оказывается крайне сложно как ощутить, так и поверить своему ощущению неестественности и даже невыносимости своего положения.

догадках, что мы переселимся именно в этот дом и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве. С этих пор, по вечерам, я с напряженным любопытством смотрела из окна на этот волшебный для меня дом, припоминала съезд, припоминала гостей, таких нарядных, каких я никогда еще не видала; мне чудились эти звуки сладкой музыки, вылетавшие из окон; я всматривалась в тени людей, мелькавшие на занавесах окон, и всё старалась угадать, что такое там делается, — и всё казалось мне, что там рай и всегдашний праздник» [Достоевский, 1972–1990, т. 2, с. 274].

В заключении отмечу, что одним из следствий достижения предела, до которого не доходили герои ранних текстов, стало то, что Раскольников оказался на каторге, где и произошло его перерождение. Напомню о необычном совете, который дал Достоевский своему молодому другу Всеволоду Соловьеву. Писатель предложил каторгу как лекарство от начинающейся «болезни», симптомы который очень напоминали то, что испытывали как Раскольников, так и герои 1840-х годов[14]. «Я [Соловьев] сколько раз к вам собирался, но вот никак не мог собраться: я нигде не бываю; по целым дням сижу дома. Он [Достоевский] задумался. — Да, вот я так и решил, так оно и есть... вот об этом мы и поговорим, голубчик. <...> — Видите, что я хотел вам сказать, — заговорил Достоевский, — так у вас не может продолжаться, вы что-нибудь с собою сделайте... и не говорите, и не рассказывайте... я все знаю, что вы мне хотите сказать, я отлично

---

[14] На III Международной научной онлайн-конференции «“Преступление и наказание”: современное состояние изучения» Ольга Меерсон отметила, что понятие уединения в сознании Достоевского не было столь однозначным. Действительно, Достоевский прямо писал о невозможности на каторге побыть хоть в каком-то уединении как об одном из самых тяжелых испытаний: «Вот уже очень скоро пять лет, как я под конвоем или в толпе людей, и ни одного часу не был один. Быть одному — это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человеконенавистником. Общество людей сделается ядом и заразой, и вот от этого-то нестерпимого мучения я терпел более всего в эти четыре года. Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно. Самое несносное несчастье это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок, сознаешь всё это, упрекаешь себя даже — и не можешь себя пересилить. Я это испытал» [Достоевский, 1972–1990, т. 28_1, с. 177]. Именно как нарушение «нормального» состояния ощущают многие герои ранних текстов вырывание их из уединения. Обособленность — свойство низшей природы человека, если он полностью захвачен ею, то высшая/новая природа воспринимается как ненормальная и даже опасная. Вот как описывается соприкосновение с ней в «Идиоте»: «Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны <…>» [Достоевский, 1972–1990, т. 8, с. 52]. Выход из уединения — это не только встреча с Настенькой или Катериной, но и встреча со всем человечеством. «Нормальный» человек сделает все, чтобы избежать ее, только внешние обстоятельства на *определенном этапе развития человека* могут обеспечить невозможность сокрытия вновь в своей раковине. Однако «сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями. Это закон природы; к этому тянет **нормально** человека» [Достоевский, 1972–1990, т. 5, с. 79].

понимаю ваше состояние, я сам пережил его. Это та же моя нервная болезнь, может быть, в несколько иной форме, но, в сущности, то же самое. Голубчик, послушайте меня, сделайте с собою что-нибудь, иначе может плохо кончиться... Ведь я вам рассказывал — мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... О! Это большое для меня было счастие: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!..» [Достоевский в воспоминаниях современников, 1990, с. 211–212].

Список литературы

1. Богданова, Водопьянова, 2001 — *Богданова О.А., Водопьянова Г.А.* Эволюция образа мечтателя в раннем творчестве Ф.М. Достоевского // Вестник Тамбовского университета. 2001. № 3–5 (23). С. 91–93.
2. Гроссман, 1921 — *Гроссман Л.П.* Путь Достоевского // Творчество Достоевского. 1821–1881–1921. Одесса: Всеукр. гос. изд-во, 1921. С. 83–108.
3. Гроссман, 1965 — *Гроссман Л.П.* Достоевский. 2-е изд., испр. и доп. М.: Молодая гвардия, 1965. 608 с. (Жизнь замечательных людей).
4. Достоевский в воспоминаниях современников, 1990 — Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1990. Т. 2. 623 с.
5. Достоевский, 1972–1990 — *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
6. Дурылин, 1928 — *Дурылин С.Н.* Об одном символе у Достоевского. Опыт тематического обзора // Достоевский: Труды Государственной Академии Художественных наук. Литературная секция. Вып. 3. М.: ГАХН, 1928. С. 163–199.
7. Жилякова, 1989 — *Жилякова Э.М.* Традиции сентиментализма в творчестве раннего Достоевского (1844–1849). Томск: Изд-во Томского ун-та, 1989. 271 с.
8. Касаткина, 2015 — *Касаткина Т.А.* Священное в повседневном. Двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского. М.: ИМЛИ РАН, 2015. 523 с.
9. Косяков, 2009 — *Косяков С.А.* Мечтатель и его трансформации в творчестве Ф.М. Достоевского: дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2009. 155 с.
10. Магарил-Ильяева, 2021 — *Магарил-Ильяева Т.Г.* Фельетоны 1847 года как «толковый словарь» философии раннего творчества Ф.М. Достоевского // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2021. № 4 (16). С. 24–39. https://doi.org/10.22455/2619-0311-2021-4-24-41

11. Медведева, Казаков, 2015 — *Медведева Д.А., Казаков А.А.* Мечтатели и идеологи в мире Ф.М. Достоевского в свете феноменологии безумия // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 4 (36). С. 141–150.

12. Медведев, 2009 — *Медведев А.А.* Символика косых лучей в творчестве Ф.М. Достоевского и православная литургическая и богословская традиция // Контекст-2008: Историко-литературные и теоретические исследования. М.: ИМЛИ РАН. 2009. С. 18–46.

13. Мелетинский, 1994 — *Мелетинский Е.М.* О литературных архетипах. М.: Культурная инициатива, 1994. 136 с.

14. Нечаева, 1979 — *Нечаева В.С.* Ранний Достоевский. 1821–1849. М.: Наука, 1979. 288 с.

15. Федорова, Любарец, 2023 — *Федорова Е.А., Любарец В.В.* Мечтатель и Подпольный герой М.Ю. Лермонтова и Ф.М. Достоевского в свете этического учения А.А. Ухтомского // Два века русской классики. 2023. Т. 5, № 2. С. 50–71. https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-50-71

References

1. Bogdanova, O.A., and G.A. Vodopianova. “Evoliutsiia obraza mechtatelia v rannem tvorchestve F.M. Dostoevskogo” [“The Evolution of the Image of the Dreamer in Dostoevsky’s Early Works”]. *Vestnik Tambovskogo universiteta*, no. 3–5 (23), 2001, pp. 91–93. (In Russ.)

2. Grossman, L.P. “Put’ Dostoevskogo” [“Dostoevsky’s Path”]. *Tvorchestvo Dostoevskogo 1821–1881–1921* [*Dostoevsky’s Work. 1821–1881–1921*]. Odessa, Vseukr. gos. izd-vo Publ., 1921, pp. 83–108. (In Russ.)

3. Grossman, L.P. *Dostoevskii* [*Dostoevsky*]. 2nd Edition, rev. and edd. Moscow, Molodaia gvardiia Publ., 1965. 608 p. (In Russ.)

4. *F.M. Dostoevskii v vospominaniiakh sovremennikov* [*Fyodor Dostoevsky in the Memoirs of the Contemporaries*], vol. 2. Moscow, Khudozhestvennaia literatura Publ., 1990. 623 p. (In Russ.)

5. Dostoevskii, F.M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh* [*Complete Works: in 30 vols*]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)

6. Durylin, S.N. “Ob odnom simvole u Dostoevskogo. Opyt tematicheskogo obzora” [“About One Symbol in Dostoevsky: An Experiment of Thematic Review”]. *Dostoevskii: Trudy Gosudarstvennoi Akademii Khudozhestvennykh nauk. Literaturnaia sektsiia* [*Dostoevsky: Proceedings of the State Academy of Arts. Literature Section*], issue 3. Moscow, GAKhN Publ., 1928, pp. 163–199. (In Russ.)

7. Zhiliakova, E.M. *Traditsii sentimentalizma v tvorchestve rannego Dostoevskogo (1844–1849)* [*Sentimentalism Traditions in the Early Works of Dostoevsky (1844–1849)*]. Tomsk, Izd-vo Tomskogo un-ta Publ., 1989. 271 p. (In Russ.)

8. Kasatkina, T.A. *Sviashchennoe v povsednevnom. Dvusostavnyi obraz v proizvedeniiakh F.M. Dostoevskogo* [*The Sacred in the Ordinary: The Two-Folded Image in Dostoevsky’s Works*]. Moscow, IWL RAS Publ., 2015. 523 p. (In Russ.)

9. Kosiakov, *S.A. Mechtatel’ i ego transformatsii v tvorchestve F.M. Dostoevskogo* [*The Dreamer and His Transformations in Dostoevsky’s Work: PhD Dissertation*]. Voronezh, 2009. 155 p. (In Russ.)

10. Magaril-Il'iaeva, T.G. "Feletony 1847 goda kak 'tolkovyi slovar'' filosofii rannego tvorchestva F.M. Dostoevskogo" ["1847 Feuilletons as an 'Explanatory Dictionary' of the Philosophy of Dostoevsky's Early Works"]. *Dostoevskii i mirovaia kul'tura. Filologicheskii zhurnal*, no. 4 (16), 2021, pp. 24–39. (In Russ.) https://doi.org/10.22455/2619-0311-2021-4-24-41

11. Medvedeva, D.A., and A.A. Kazakov. "Mechtateli i ideologi v mire F.M. Dostoevskogo v svete fenomenologii bezumiia" ["Dreamers and Ideologist in Dostoevsky's Work in the Light of a Phenomenology of Craziness"]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiia*, no. 4 (36), 2015, pp. 141–150. (In Russ.)

12. Medvedev, A.A. "Simvolika kosykh luchei v tvorchestve F.M. Dostoevskogo i pravoslavnaia liturgicheskaia i bogoslovskaia traditsiia" ["Symbolism of Oblique Rays in the Works of Fyodor Dostoevsky and the Orthodox Liturgical and Theological Tradition"]. *Kontekst-2008: Istoriko-literaturnye i teoreticheskie issledovaniia* [*Context 2008: Historical-Literary and Theoretical Research*]. Moscow, IWL RAS Publ., 2009, pp. 18–46. (In Russ.)

13. Meletinskii, E.M. *O literaturnykh arkhetipakh* [*On Literary Archetypes*]. Moscow, Kul'turnaia initsiativa Publ., 1994. 136 p. (In Russ.)

14. Nechaeva, V.S. *Rannii Dostoevskii. 1821–1849* [*Early Dostoevsky. 1821–1849*]. Moscow, Nauka Publ., 1979. 288 p. (In Russ.)

15. Fedorova, E.A., and V.V. Liubarets. "Mechtatel' i Podpol'nyi geroi M.Iu. Lermontova i F.M. Dostoevskogo v svete eticheskogo ucheniia A.A. Ukhtomskogo" ["The Dreamer and the Underground Man of Mikhail Lermontov and Fyodor Dostoevsky in the Light of A.A. Ukhtomsky's Ethical Doctrine"]. *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 50–71. (In Russ.) https://doi.org/10.22455/2686-7494-2023-5-2-50-71

Статья поступила в редакцию: 08.03.2024
Одобрена после рецензирования: 12.03.2024
Принята к публикации: 13.03.2024
Дата публикации: 25.03.2024

The article was submitted: 08 Mar. 2024
Approved after reviewing: 12 Mar. 2024
Accepted for publication: 13 Mar. 2024
Date of publication: 25 Mar. 2024